

Психология и власть

«Новый человек» в советской психологии — взгляд из XXI века

В известной книге Реймонда Бауэра, вышедшей более полувека назад в разгар «холодной войны», была сделана попытка ответить на вопрос: «Какой социальный заказ со стороны лидеров Октябрьской революции могли получить социальные науки и, в частности, психология для достижения цели по созданию «нового советского человека» не только как важного идеологического ориентира, но и как объекта управления нового режима»? Автору хотелось бы не только оценить успешность решения этой задачи, но и оценить, как состояние психологии в Советском Союзе, особенно в наиболее тяжелый сталинский период, так и цели советского истеблишмента в отношении граждан своей страны, с точки зрения современного понимания истории психологии и советского общества.

Один из главных тезисов работы Бауэра (Bauer, 1952/1959) заключался в том, что понимание природы человека является не только предметом объективного исследования, но и исходным инструментом социального и политического контроля, также как и «краеугольным камнем» всей культуры общества. Этот тезис имел уже к этому времени весьма трагическое подтверждение. К моменту выхода книги американцам уже была хорошо известна идеология национал-социализма с ее идеей «настоящего арийца» и страшные последствия национальной политики по реализации идеи «чистоты расы».

Если уже в 1930-е годы американские психологи подтвердили превосходство демократического лидерства и подчеркивали возможности уменьшения психологических различий между расами с помощью обучения (Lewin, Lippitt, & White, 1939; Lippitt, 1940), то немецкие психологи в то же самое время подтверждали своими исследованиями доктрины расизма и авторитаризма (Wyatt, & Teuber, 1944). Понятно, что речь идет о двухсторонних влияниях доминирующих социально-политических идей в обществе и психологических теорий, хотя влияние психологических разработок на доминирующие ценности и установки властной элиты явно уступало обратному влиянию и в более демократических странах.

Важно, однако, отметить, что относительная независимость психологии от решений и установок власти, как это имело место в дореволюционной России и в развитых странах Запада, сменилось в послеоктябрьский период в Советской России постепенным введением «единой марксистско-ленинской теории» как средства контроля и управления не только в политической сфере, но и в науке и образовании. На самом деле, такой единой теории, конечно же, никогда не существовало. Как пишет Бауэр, и писали большое количество социальных философов и советологов на Западе, марксизм-ленинизм представляет весьма пеструю смесь социально-экономических и философских размышлений о капиталистическом обществе и его предшественниках, критики существующих политических движений и партий, политэкономических идей и политических лозунгов.

Появившееся в 1920-е годы, после разгромной критики всех видов идеализма, различие не очень хороших «механистических материалистов» и «диалектических

материалистов» Бауэр считал типом ориентации, соответственно, для «механистических» материалистов – на выявление причинно-следственных отношений, а для «диалектических» – на достижение цели. В этом отношении, работы Ленина выглядят явно более диалектическими, ибо он почти во всех работах предстает, прежде всего, как политический и бескомпромиссный борец за приоритет своего понимания вопроса.

Провозглашение двух виртуальных вариантов интерпретации марксистских идей развязывало руки идеологам большевиков. Если, согласно Марксу, все неразрешимые антагонизмы капиталистического общества сводятся к неизбежной классовой борьбе эксплуатирующей буржуазии и эксплуатируемого рабочего класса, то переход власти, и, соответственно, средств производства, в руки трудящихся должно было означать и освобождение общества от этих противоречий и классовой борьбы. Этому мнению придерживались, в основном, Бухарин и его сторонники.

Эти идеи, однако, очень скоро были отнесены Сталиным и его сторонниками к механистическому прочтению Маркса. Как известно, еще в процессе борьбы с Троцким и его сторонниками в 1920-е годы Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы в стране Советов, которым затем и оправдывались массовые репрессии не только диссидентов и «классово чуждых элементов», но и коммунистов, принимавших активное участие в Октябрьской революции и установлении Советской власти в стране.

Здесь лишь важно было отметить, что лидеров большевиков конкретные социальные институты и идеи (в том числе и марксистские) могли привлекать лишь в силу способности этих идей или институтов усиливать их власть и разрешать проблемы, возникающие в этой связи. Этот тезис легко проиллюстрировать взаимоотношениями Сталина и Бухарина, который в 1920-е годы являлся ведущим идеологом государственной политики.

Бухарин после некоторых колебаний поддержал Ленина во введении НЭПа (Новая экономическая политика) с сохранением частного предпринимательства в народном хозяйстве, негативно встреченного сторонниками Троцкого и Сталина, и развивал идею «смычки пролетариата с трудовым крестьянством» (Бухарин, 1990). Троцкий, в свою очередь, выдвигал программу максимально быстрой индустриализации всей страны. Сталин до поры до времени поддерживал устные и письменные выступления Бухарина на этапе его борьбы с группой Троцкого, но когда в 1927 году была одержана безусловная победа над троцкистами и Троцкий был вынужден эмигрировать, эти взаимоотношения резко изменились.

Претензии Бухарина на лучшее понимание «заветов Ленина» в период 1927-1929 годов, особенно его доклад «Политическое завещание Ленина», вызвали резкое недовольство Сталина не только тем, что идеи, высказанные там, противоречили его планам принудительной коллективизации и массовых репрессий, но и еще в большей степени тем, что кто-то в высшем эшелоне власти претендовал на «более правильное» понимание ленинизма и преемственности политики партии и государства, чем понимание самого Сталина. Этому он простить никак не мог. После объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) в апреле 1929 года Бухарин был отстранен от власти и последующие годы вплоть до знаменитого уголовного процесса 1937 года, где ему и ряду его сторонников был вынесен смертный приговор, вынужден был замаливать грехи на второстепенной административной и преподавательской работе.

Психология в послеоктябрьский период

В психологии переориентация на новые требования упрощалась тем, что в стране было лишь одно крупное специализированное учреждение в области психологии — Психологический институт при Московском университете. Институт был создан Г.И. Челпановым (1862-1936)* по образцу лучших немецких и американских психологических институтов в 1910-1912 годах на деньги известного предпринимателя и мецената Щукина благодаря интересу его жены к

психологии, и до революции институт назывался Психологический Институт имени Л.Г. Щукиной при Императорском Московском Университете (Челпанов, 1914). Челпанов стал директором этого института, который являлся одновременно крупнейшим в стране учебным и научно-исследовательским учреждением.

В институте издавались регулярные сборники «Психологические исследования», и Челпанов не был склонен демонстрировать лояльность новой власти, которая не слишком заботилась о выживании высшего образования, науки и Института Психологии в частности. В то же время, в кругу этого института и издания находились почти все психологи не только Москвы, но и всей страны. Смена руководства института должна была давать всем совершенно однозначный сигнал о «требованиях времени». Однако эта смена должна была быть подготовлена как соответствующими публикациями, так и подобием общественной дискуссии.

Вот что об этом говорил спустя четверть века послевоенный лидер советской психологии Б. М. Теплов в «тронной» речи 13 октября 1947 года в Доме Союзов «Советская психологическая наука за 30 лет»: «Период 1921-1924 годов — период борьбы с открыто идеалистическими направлениями в психологии, закончившейся полным разгромом их» (Теплов, 1947, с.10). «Первой ласточкой» этой борьбы Теплов посчитал книгу ученика Челпанова П.П. Блонского — «Очерк научной психологии», изданной в 1921 году и содержавшей требование замены идеалистической психологии материалистической. В ней Блонский развивал тезисы своей предшествующей антиидеалистической работы «Реформа науки» (1920).

Однако позицию самого Блонского Теплов определил как позицию механистического материализма, ибо дифференциация видов материализма, о которой речь шла выше, была утверждена как всеобщая директива позже, да и сам Блонский впоследствии подвергался весьма жесткой критике за механистическую интерпретацию Маркса. В том же докладе Теплов особо отметил работу другого ученика Челпанова — Корнилова — «Учение о реакциях человека», вышедшую в 1922 году. Сделал он это вполне целенаправленно, ибо 15 ноября 1923 года по решению Государственного Ученого Совета (ГУС) Челпанова на посту директора Психологического института сменил именно Корнилов.

Интерес представляет то, за что последний лидер советской психологии сталинской эпохи хвалил первого лидера: «Корнилов попытался сделать из лабораторных экспериментов далеко идущие выводы, ответить на основные вопросы науки и на «насущнейшие потребности социалистического строительства». При этом он допустил немало существенных ошибок, но для того времени важнее было другое — сама попытка разорвать академическую замкнутость экспериментальной психологии» (Теплов, с.11). В заслугу ставятся не столько научные данные, сколько отход от них в угоду «насущнейшим потребностям», к которым проведенные Корниловым лабораторные эксперименты имели ровно такое же отношение, как какие бы то ни было другие опыты в том же институте, в том числе и тех сотрудников, которые не стремились обличать своего учителя и демонстрировать лояльность новой власти. Теплов хвалит своего предшественника не за создание новой психологии, а за разрушение старой, или, в его терминологии, за «отрыв психологии от идеалистической философии», вполне осознанно считая, что таково «требование времени» — подчинить психологию, как и другие науки, воле партийных вождей, представленной в виде ярлыка «диалектический материализм».

После появления многочисленных критических публикаций в 1921-1922 годах, направленных против идеалистической психологии и лично против ее главного представителя Челпанова, наступила пора публичных акций. Скорее всего, сторонники Корнилова на I всероссийском съезде по психоневрологии, который состоялся в Москве с 10 по 15 января 1923 года и был организован именно для этой цели, оказались в меньшинстве, и принятие каких бы то ни было резолюций съезда, осуждающих Челпанова и его сторонников, провалилось.

Однако незамедлительно, с 3 по 10 января 1924 года был организован II всероссийский

съезд по психоневрологии уже в Петрограде, где главным союзником Корнилова выступил чрезвычайно влиятельный в то время создатель собственной рефлексологической концепции Бехтерев. Совершенно очевидно, что столь быстрая организация второго съезда и проведение его именно в Петрограде, где численное преимущество сторонников Бехтерева было подавляющим (429 из 906 участников были врачи), говорит о том, что партийные лидеры решили во что бы то ни стало устроить публичную «порку» не слишком лояльным представителям психологии и смежных наук и представить смену руководства Института Психологии, состоявшуюся в конце 1923 года как объективную неизбежность.

По мнению Бауэра, в советский период психология становилась все более прикладной и все менее ориентированной на изучение общих закономерностей психических процессов. С этим можно согласиться лишь с известными оговорками. Действительно, Челпанов после революции по собственной инициативе открыл в своем институте отдел прикладной психологии. Однако последующие функционеры от психологии лишь декларировали стремление психологии отражать насущные задачи советской власти, что было свидетельством не столько переноса акцента в реальной научно-исследовательской деятельности на прикладные задачи, сколько свидетельством лояльности власти.

Как отмечает Лурия в своих воспоминаниях о периоде марксистской перестройки в Институте Психологии, суть этой перестройки сводилась к переименованию лабораторий: «Все лаборатории были переименованы так, что их названия включали термин «реакции»: была лаборатория визуальных реакций (восприятие), мнемонических реакций (память), эмоциональных реакций и т. д. Все это имело целью уничтожить какие-либо следы субъективной психологии и заменить ее разновидностью бихевиоризма» (Лурия, А. Р. (1982). Реально психологи выполняли заказы конкретных организаций лишь от случая к случаю, а зарабатывали на жизнь в основном преподавательской деятельностью. Это относилось и к работникам, и к руководителям Института Психологии.

Что касается академической науки, то ее трудно было сохранить или развить в стране Советов как по причине идеологической самоизоляции от хода развития мировой науки, так и по причине отсутствия регулярного финансирования научных исследований. Отдельные успехи, типа получения финансирования для своей лаборатории Павловым непосредственно от Ленина, или выдающиеся достижения Бехтерева по сохранению созданной им до революции медицинской научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры в Петрограде являются скорее исключениями из правила. К тому же они иллюстрируют не только исключительность личностей этих выдающихся ученых с мировым именем, но и типичное в начале XX века и для других стран различие в статусе между медицинскими науками и физиологией, в частности, и психологией.

К различию между этими науками следует отнести и различия более материалистического мировоззрения Павлова и Бехтерева, получившими хорошую естественно-научную подготовку, и российских психологов типа Челпанова, Нечаева или Ланге, получивших в основном философское или историко-филологическое образование, где материальный субстрат психических явлений даже не обсуждался. В то же время Павлов, в отличие от Бехтерева, высоко ценил усилия Челпанова по созданию Психологического института по лучшим зарубежным образцам и его преданность науке.

Естественно, что прагматическая ориентация лидеров большевизма вела к еще большему приоритету физиологии над психологией, тем более, что зачастую их собственное здоровье зависело от медицинских светил. Хотя, как известно, Павлов не практиковал, в то время как Бехтерев не только консультировал руководителей партии и правительства, но и был одним из крупнейших руководителей в системе здравоохранения, московские идеологи склонялись отдавать приоритет Павлову, несмотря на его подчеркиваемую религиозность и весьма скептическое отношение к Советской власти. Скорее всего, в пользу Павлова служила не столько его мировая слава, сколько его затворничество в Колтушах и абсолютное невмешательство в политику, а значит — абсолютная безвредность в борьбе за власть. О Бехтерева этого никак нельзя было сказать, ибо он консультировал Ленина и многих

живущих партийных функционеров самого высокого ранга, руководил журналами, медицинскими учреждениями и владел информацией о закулисной жизни высшего эшелона власти.

Как известно, конкурентный конфликт между двумя мировыми звездами физиологии и медицины, начавшийся еще в конце XIX века, завершился внезапной смертью Бехтерева в конце 1927 года, вызвавшей многочисленные слухи. Последовавшее затем постепенное уничтожение бехтеревской школы рефлексологии в значительной мере подтвердило эти слухи. Современные исследователи склонны считать эту смерть убийством, совершенным по прямому приказу Сталина (Бреслав, 2006; Шерешевский, 1991).

Правда, различаются мотивировки. В очень подробной и тщательно документированной статье Шерешевского приведены два возможных варианта рокового «проступка» Бехтерева. Первый вариант предполагает, что после консультирования Сталина в Кремле Бехтерев, выйдя из кабинета Сталина, бросил в приемной фразу: «Обыкновенный параноик»; согласно второму варианту, он, опоздав в тот день в президиум на заседание Всероссийского съезда невропатологов и психиатров, ответил на вопрос коллеги о причине опоздания: «Смотрел одного сухорукого параноика» (Шерешевский, 1991).

Хотя получение точных сведений об этом преступлении уже не представляется возможным, оба предложенных варианта выглядят совершенно неправдоподобно. Бехтерев был очень опытным и достаточно осторожным человеком, прекрасно знающим «кто есть кто» в Кремле. Даже несмотря на то, что он незадолго до трагического события съездил на крупную международную конференцию по эмоциям в США и мог на время отвлечься от обстановки в Москве и несколько расслабиться, он был более чем социально и профессионально компетентен, чтобы не бросаться такими фразами даже в кругу своих самых близких коллег. Он знал, насколько это может быть чревато и был хорошо знаком с данными Залкинда о наличии в 1920-х годах комплекса «парттриады» — «партийной триады» (присутствие у 90% партийного актива ВКП(б) невротических симптомов, гипертонии и вялого обмена веществ), образование которого тот объяснял нарушением гигиенических норм, профессиональным несоответствием, нервным возбуждением и культурным отставанием. Бехтерев гораздо лучше Залкинда понимал суть «партийного стресса» и степень риска людей, вынужденных принимать быстрые и зачастую весьма чреватые последствиями решения.

Скорее всего, объяснение причин убийства не требует совершения Бехтеревым никакого социального или профессионального проступка. Вполне достаточно было не выражать страха и подобострастия перед Сталиным и обращаться с ним как с обычным пациентом, чтобы вызвать его немилость. А судя по впечатлению от диагностики состояния руки, Бехтерев мог и посоветовать своему кремлевскому пациенту отойти на время от дел и поехать лечиться на воды, ибо иначе состояние руки может ухудшиться. Скорее всего, его независимое поведение и, возможно, рекомендация Сталину отдохнуть от работы и сменить обстановку оказались вполне достаточным основанием для вынесения смертного приговора. Особенно предложение типа стандартного врачебного пожелания «сменить обстановку» могло прозвучать для Сталина весьма зловеще. Учитывая описанную выше ситуацию политической борьбы в высшем эшелоне власти в этот период, Бехтерев, конечно же, не желая этого, скорее всего попал в зону главного страха Сталина — панического страха хотя бы ненадолго быть отстраненным от пульта управления, уменьшившегося лишь в конце 1929 года после устранения последнего на тот момент достойного конкурента — Бухарина. Человека, вызвавшего такие переживания, Сталин простить не мог даже при его несомненной объективной ценности.

Требования власти к психологии

В первом юбилейном докладе о состоянии психологии в стране Советов, посвященном 10-летию Октябрьской революции в 1927 году, уже признанный лидер советской психологии

Корнилов выделил три основополагающих цели развития психологии на марксистской основе: 1) психология должна быть материалистической; 2) она должна быть детерминистской; 3) она должна быть диалектической (Корнилов, 1928,а). По его мнению, если первые две цели уже в значительной степени достигнуты, то это нельзя сказать о достижении третьей цели. Ее достижение, как он раньше отмечал, предполагает реализацию следующих принципов: а) непрерывность изменения всего существующего; б) всеобщая взаимосвязь и закономерность всех явлений; в) скачкообразность развития с переходом количества в качество; г) прогрессивное развитие через разрешение противоречий (Корнилов, 1928,б).

В то же время, в 1928 году Корнилов вместе с Залкиндом и Шпильрейном стали издавать журнал «Психология, педология и психотехника», сначала предполагавший лишь отдельные серии по этим разделам, но вскоре превратившийся в три журнала: «Психология» под ред. Корнилова, «Психотехника и психофизиология труда» под ред. Шпильрейна и «Педология» под ред. Залкинда. Тем не менее, вскоре и Корнилов оказался неугодным и был подвергнут идеологически «правильной» критике. В свою очередь, журналы «Психология» и «Педология» были закрыты в 1932 году, журнал «Психотехника и психофизиология труда» в 1932 году стал называться «Советская психотехника», а в 1934 году был закрыт.

В принципе, решающим годом становления сталинизма как сторонники, так и противники советского режима считают именно 1929 год — год «великого перелома», как назвали его сталинисты. Именно в этот год после подавления внутренней оппозиции в партии сворачивается НЭП, принимается Первый пятилетний план и начинается сплошная коллективизация. Тем самым потенциальный заказ на психологические услуги был сведен к нулю уничтожением частного сектора и абсолютной бесперспективностью государственного сектора, ибо, как мы видели выше, для Сталина ценность отдельного человека определялась лишь степенью его личной преданности «товарищу Сталину». Примерно этому времени приписывается зловещее не только для психологов высказывание Сталина в частной беседе с Берия: «Есть человек — есть проблема! Нет человека — нет проблемы!».

В конце 1920-х годов по все областям научной и философской сферы прошла компания «признания в идейных заблуждениях». После естествознания и философии волна «саморазоблачений» достигла и психологии. В январе 1930 года прошел I Всесоюзный съезд по изучению поведения человека, созванный по решению Главнауки Наркомпроса РСФСР под руководством Н.А. Карева, Залкинда, И.Д. Сапира и Корнилова, где критике подверглись все области психологии, представленные в советской стране. В конце 1930 года в институте психологии развернулась «реактологическая дискуссия», стоившая Корнилову поста директора (им до 1932 года стал Залкинд, а затем до 1935 года Колбановский), а институту — смены названия на Государственный Институт психологии, педологии, психотехники и дефектологии (ГИППП).

Год 1931 был провозглашен «годом борьбы за решительный поворот в деле перестройки психологии на основе марксизма–ленинизма, за преодоление отставания психологической теории от практики социалистического строительства» — все в работе института должно было теперь руководствоваться задачей «превращения всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового социалистического общества». А основной проблемой института психологии должна была стать проблема «общественного разделения труда и формирования сознания».

Отмечая эту длинную череду «разоблачений», Бауэр пишет, что психологи в это время больше были заинтересованы в демонстрации соответствия своих психологических брэндов марксистским принципам, чем реальному построению такой психологии (с.62). С известными исключениями с этим вполне можно согласиться. Практически, уже в период между Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года о начальной и средней школе, направленном на подчинение научно-исследовательской работы задачам школьной практики, до печально известного Постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» психологические исследования и разработки

начинают свертываться даже в такой, казалось бы, актуальной сфере, как психология труда.

Совершенно не случайно, что именно идеи Сеченова, предлагавшего полностью избавиться от изучения сознания в пользу физиологических процессов, и особенно теория условных рефлексов Павлова, в которой даже свободная воля человека получает свое объяснение как особого рода двигательный рефлекс, были положены в основу «марксистско-ленинской» основы психологии. Психика, в интерпретации Павлова и Бехтерева, при этом выступала всего лишь эпифеноменом, который лишь сопровождает органические процессы.

В условиях отказа от изучения истинных механизмов поведения человека правящей элите было весьма удобно представлять человека в виде условно-рефлекторного аппарата, которым можно достаточно легко управлять с помощью «кнута и пряника». «Пряников» в бедной стране Советов на всех желающих, конечно же, не хватало, зато «кнута» советские люди вкусили в полной мере. В построенном сталинистами военно-полицейском социализме проблема человека, предполагающая наличие его неотъемлемых свобод и прав, была заменена вопросом индивидуальной ответственности. Все, не отвечающие социальным «требованиям времени», должны были «перевоспитываться» в весьма неблагоприятных условиях.

Впрочем, остается непонятным, как человек в виде условно-рефлекторного аппарата может удовлетворять этим требованиям, если он исходно запускается лишь внешней стимуляцией, то есть является принципиально пассивным или реактивным существом. Тогда остается лишь искать внешних «виновников» неудовлетворительных экземпляров человеческого рода — родителей или других родственников, начальников или коллег, воспитателей или их вдохновителей. В крайнем случае, можно было сослаться на «пережитки прошлого», но сам человек оставался пассивной жертвой обстоятельств. В 1930-е годы в это представление идеологи советской власти вынуждены были внести известные коррективы, добавив к факторам среды и наследственности воспитание и самовоспитание.

В 1920-е годы был провозглашен еще один источник материалистического взгляда на природу человека — психоанализ. В 1921 году по инициативе И. Ермакова и И. Вульфа было создано Русское психоаналитическое общество, членами которого стали многие русские ученые, проявлявшие интерес к теории и практике психоанализа, среди которых были Лурия, Рейснер, Залкинд и др. Большой интерес к психоанализу проявили и такие деятели большевиков, как Троцкий, Крупская и Луначарский. В том же 1921 году в Москве в бывшем особняке Рябушинского открылся детский дом «Международная солидарность», где практиковались психоаналитически ориентированные методы воспитания и лечения детей. В 1922 году при Наркомате просвещения на базе этого детского дома был создан Государственный психоаналитический институт. Профессор И.Д. Ермаков с 1924 года начал издавать психологическую и психоаналитическую библиотеку, где до 1933 года были изданы практически все основные труды З.Фрейда, а также работы многих видных зарубежных психоаналитиков. Однако уже в 1925 году психоаналитический институт был закрыт, а сторонники психоанализа начали подвергаться осуждению и гонениям как идеалисты. Впрочем, позже они же подвергались критике как «механистические материалисты» или как «биологизаторы» (Эткинд, 1994).

Не избежали разгромной критики и Выготский, Лурия и Леонтьев, которые начинали в 1923-1924 годах с изучения моторных и аффективных реакций под идейным руководством Корнилова, однако в конце 1920-х годов стали изучать, уже под руководством Выготского, культурные средства развития познавательных процессов у детей. Эта критика продолжалась более 40 лет, далеко за пределами сталинского периода, при том, что представители школы Выготского избежали серьезных репрессий.

К тому же группа Выготского действительно была известным исключением из общего фона советской психологии конца 1920-х – начала 1930-х годов, да и в последующие годы. Даже после смерти Выготского и разгрома педологии они продолжали активную научную деятельность, пытаясь даже активно участвовать в международной научной жизни. Лурия только во время войны не участвовал в этой жизни и являлся одним из немногих (если не

единственным) представителем советской психологии в мировом профессиональном сообществе в сталинскую эпоху (Luria, 1936, 1937).

«Кадры решают все»

В работе «Проблемы ленинизма» Сталин выдвинул в 1935 году этот тезис, ставший почти на 20 лет печально знаменитым и судьбоносным для советского общества. Бауэр, который пользовался официальными документами, связывает это высказывание прежде всего с осознанием необходимости в подготовке и стимулировании более квалифицированных кадров для Второго пятилетнего плана. На поверхности это действительно так, ибо тогда же было инициировано стахановское движение, направленное на увеличение производительности труда. Однако гораздо важнее был первый подтекст этого тезиса — усиление карательного контроля за людьми, необходимость которого отмечалась как в предшествующих, так и в последующих выступлениях Сталина, неважно, называлась ли это усиление контроля и репрессий «партийной бдительностью», «классовой сознательностью» или «борьбой с пережитками прошлого». Как известно, впоследствии этот тезис приобрел еще более зловещее звучание, ибо под кадрами стали понимать аппарат НКВД («органы», как их обычно называли), обладавший в 1930-е годы совершенно бесконтрольной властью, намного превосходящей власть партийного аппарата.

Массовые репрессии 1937-1938 годов затронули и психологов. Под флагом «борьбы с врагами народа» в университетах и научных учреждениях производились чистки с увольнением как наиболее квалифицированных ученых, так и наиболее способных студентов по обвинениям в саботаже, вредительстве, контрреволюционной деятельности или шпионаже. В отличие от чисток 1920-х годов, большинство из уволенных или отчисленных тут же арестовывалось.

В частности, лидер и создатель советской психологии труда Исаак Шпильрейн стал жертвой сталинского террора. В 1935 году он был арестован по стандартному обвинению в «контрреволюционной пропаганде и троцкизме» и в 1937 году расстрелян. В том же году был расстрелян харьковский психолог труда Анатолий Розенблюм и известный философ и психолог Густав Шпет. Были арестованы и сосланы в концентрационные лагеря создатель Психоаналитической библиотеки и ассоциации профессор Ермаков, сотрудник Шпильрейна Рейтынбарг, и др. (Умрихин, 1991; Эткинд, 1994).

Остатки психологии реально сохранились во второй половине 1930-х годов лишь как научное обеспечение сферы образования. Психологи могли публиковаться лишь в журнале «Советская педагогика» или в гораздо более идеологически требовательных философских журналах. При этом профессиональная база психологии оставалась очень слабой, ибо единственное учебное заведение в области психологии было отделено от Московского университета и превращено в чисто научно-исследовательское, которое было обречено уже в силу отсутствия системы подготовки квалифицированных кадров. Практически только после XX съезда КПСС, в 1950-1960-е годы система профессиональной подготовки психологов начала заново создаваться в Ленинградском и Московском университетах.

Кафедры психологии (а чаще — педагогики и психологии или психологии и логики) в основном открывались в педагогических институтах и университетах для обеспечения подготовки учителей, в т.ч. и учителей по психологии, ибо до 1960-х годов в программе старших классов фигурировали такие учебные предметы, как «логика» и «психология». Кадры для этих кафедр рекрутировались из представителей других дисциплин, защитивших диссертации по психологии, или просто желающих ею заниматься.

Уровень компетентности этих неофицитов и дальше оставался весьма проблематичным, так как знакомство с современной психологией вне Советского Союза воспринималось не как достоинство, а скорее как повод для подозрений в нелояльности. К тому же занятия научной деятельностью в подавляющем большинстве советских вузов заканчивались после защиты кандидатской диссертации (или не начинались вовсе), и психологи зарабатывали на жизнь

лишь преподавательской деятельностью. Научно-исследовательская деятельность вне написания диссертации рассматривалась как чисто факультативная и не финансировалась.

При этом формальным требованием квалификации преподавателя оставалось наличие «научных» публикаций, но в большинстве своем это могли быть не тексты, посвященные конкретным эмпирическим исследованиям, а размышления по известным темам или просто тезисы в материалах внутрисоюзных конференций. Понятно, что уровень квалификации преподавателей психологии и их воспитанников при таких обстоятельствах не рос, а некомпетентность консервировалась и воспринималась как норма. В частности, вплоть до сегодняшнего дня, в постсоветском пространстве преподаватель одной социальной дисциплины может получить предложение от администрации вуза прочесть учебный курс по совершенно другой, новой для него социальной дисциплине, или сам выступить с такой инициативой.

К новому пониманию личности советского человека

Понимание личности человека в психологических текстах 1930-1940-х годов предполагало обязательную произвольность, то есть сознательную целенаправленность поведения, не сводимого к влиянию окружающей среды или реализации врожденных свойств. В это время в советской философии появилось представление о свободе как осознанной необходимости, что трактовалось как необходимость подчинения человека требованиям общества, под которыми понимались все те же пресловутые «требования времени» или «линии партии». Главным критерием истинности сознания признавалась практика, которая также интерпретировалась как общественная практика в «классовом духе».

Наличие бессознательного не отрицалось, однако его значение признавалось несравненно меньшим по сравнению с сознательными процессами, протекающими в конкретной деятельности. Это относилось и к мотивационной сфере: «Мотивы человеческой деятельности являются отражением более или менее адекватно преломленных в сознании объективных движущих сил человеческого поведения. Сами потребности и интересы личности возникают и развиваются из изменяющихся и развивающихся взаимоотношений человека с окружающим его миром» (Рубинштейн, 1940, с. 520). И далее Рубинштейн развивает идеи социализации витальных потребностей, которые появились уже в его учебнике 1935 года: «Это относится также и даже особенно к сексуальному влечению, потому что оно направлено на человека. Оно более или менее глубоко и органически включается во всю сознательную жизнь личности, и эта последняя включается в него: сексуальное влечение становится любовью; потребность человека в человеке превращается в подлинно человеческую потребность» (Там же, с.522).

Советские психологи критиковали западных авторов за абсолютизацию сексуальности и роли бессознательного (Фрейд), за отрыв понимания личности от контекста социально-производственных отношений (Левин) или за биологизм в понимании потребности как нарушения равновесия во взаимодействии организма и среды (Клапаред) и превозносили в качестве идеала советского человека ответственную личность, действующую во имя широких общественных идеалов, а не сугубо личных интересов. Идеальный советский человек представлялся с чувством долга или ответственности как ведущим мотивом своего поведения, который интегрирует патриотизм, преданность партии и коммунистическим идеалам и т. п. При этом, предполагалось, что только в условиях социализма человек сможет реализовать все свои способности и удовлетворить все свои потребности, причем только в случае подчинения своих личных интересов интересам государства (читай: интересам власти), ибо с известной неизбежностью у сознательных граждан в социалистическом государстве общественные интересы становятся интересами личными.

По мере приближения Второй мировой войны темы развития характера и преданности Родине, вплоть до самопожертвования, стали ведущими не только в художественной литературе (в школьной программе по литературе появляются такие произведения, как «Как

закалялась сталь» Н.Островского, «Железный поток» Серафимовича, а после войны «Повесть о настоящем человеке» и «Молодая Гвардия») и искусстве, но и в педагогической и психологической литературе. Психология внутри педагогического комплекса должна была способствовать формированию у советских детей и молодежи такой коммунистической сознательности или сознательной дисциплины, указывая конкретные задачи воспитания и самовоспитания. В связи с этим некоторые психологические работы тех лет напоминали зачастую не столько научные работы, сколько партийные декларации, ибо авторы не занимались изучением реальных подростков, а в основном декларировали, какими они должны быть. Так, в наиболее известной работе на эту тему Корнилов определяет главную цель воспитания воли — дисциплинированное поведение как способность подчинять свои цели целям коллектива и общества (Корнилов, 1942). Значит ли это, что данная способность как-то изучалась психологами, остается тайной, ибо ни в этой, ни в остальных подобных статьях того времени таких сведений, как правило, не встречается.

Правда, во время войны у психологов появились более актуальные и вполне реальные социальные заказы. Психологи (Кравков, Теплов) занимались улучшением светомаскировки военных и наиболее важных гражданских объектов в Москве и Ленинграде. Еще одной формой практического участия психологов в деле защиты Отечества являлась консультационная работа и проведение военно-врачебной экспертизы. Так, специалист по социальной психологии А.Л. Шнирман с 1941 года являлся консультантом Наркома здравоохранения РСФСР, а специалист в области авиационной психологии и медицины К.К. Платонов с ноября 1943 года выполнял обязанности председателя Военно-врачебной летной комиссии 16-й Воздушной армии. Психологи возглавили и проводили работу по восстановлению физического и психического здоровья раненых бойцов и командиров Красной армии в эвакуационных госпиталях. Так, Лурия создал нейрохирургический восстановительный центр в Кисигаче под Челябинском, а Леонтьев, Гальперин и Запорожец — восстановительный центр общего профиля в Кауровке под Свердловском (Кольцова, Олейник, 1995; Лурия, 1975).

Причем часто восстановительную работу приходилось выполнять не столько «благодаря», сколько вопреки желанию пациентов, которые вовсе не горели желанием возвращаться на фронт. По воспоминаниям психолога Я.З. Неверович, работавшей совместно с Запорожцем и Гальпериным в Кауровке, таких «несознательных» было явное большинство, и было необходимо привлекать различные другие объяснения и отвлекающие факторы для включения раненых в упражнения по полному восстановлению здоровья. Дезертирство, необоснованная сдача в плен, членовредительство были массовыми явлениями, что вовсе не говорило о достижении успеха в воспитании поколения, готового подчинять свои интересы интересам государства и вообще идентифицировать общественное (государственное) как свое.

Значит ли это, что формирование «нового советского человека» закончилось неудачей или процесс такого формирования еще не дошел до нужной стадии к моменту начала войны? Если не дошел к началу войны, то дошел ли к концу сталинского периода? А если не к концу сталинского, то, возможно, к концу советского? Понятно, что эти вопросы звучат риторически.

Беспредельное и бесконтрольное насилие порождало страх и подчинение или отвращение и отвержение, но не повышение эффективности какой бы то ни было продуктивной деятельности. Военно-полицейское государство смогло выстоять в гонке вооружений с Западом, сосредоточив именно на этом свои главные усилия. Тем не менее, оно оказалось неконкурентоспособным в экономическом развитии, ибо те, кто создавал все богатство страны, не были в этом заинтересованы именно потому, что они достаточно ясно отличали свои собственные интересы от интересов власти. Слова популярной в советское время песни «Раньше думай о Родине, а потом о себе» так и не стали внутренним убеждением советских людей.

НОМО SOVETICUS — реальность или миф?

Основной вопрос, который волнует не только психологов, но и многих бывших жителей СССР, выглядит именно так. Удалось ли сталинскому и послесталинскому советскому режиму все-таки сформировать тип человека, принципиально отличного по особенностям своей личности от людей в странах с рыночной экономикой?

Можно ли говорить о «советском» или «совковом» синдроме или комплексе?

Конечно, однозначного ответа на этот вопрос, скорее всего, нет, ибо научное изучение предполагает сравнение, а в данном случае оно невозможно. Многие эмигранты из Советского Союза вполне успешно интегрировались в западных странах, что, однако, не может служить аргументом за отсутствие такого синдрома, ибо, скорее всего, причиной эмиграции даже в послесталинский период были не только экономические причины. К тому же можно найти вполне достаточно эмигрантов из СССР, которые так и не интегрировались ни в Израиле, ни в США, ни в Европе.

Удалось ли Бауэру разглядеть особенности такого синдрома? Во всяком случае, описывая современную (то есть послевоенную) советскую психологию, он обнаружил три специфические особенности в понимании личности: 1) максимальный акцент на возможностях формирования личности в социально желательном направлении, а не на реальном положении вещей; 2) ограничение ответственности в формировании «Нового советского человека» семьей, школой и самим индивидом; 3) снятие ответственности с общества в целом за негативные результаты поведения людей, но сохранение за обществом всех заслуг при позитивных результатах (Вауер, с.143).

В известной степени эти особенности наряду со всем вышеизложенным позволяют реконструировать и типичные особенности советского человека — первое и главное качество которого можно обозначить как *нигилистическое прожектерство*, что включает в себя: а) вполне произвольное построение желаемого будущего, прошлого или настоящего, как правило, деструктивным путем, то есть не столько проектируя новое или анализируя старое, сколько отрицая существующее или избегая его; б) снятие с себя ответственности за происходящее в условиях отсутствия возможностей для личной инициативы и принятия собственных решений; в) «пофигизм» как фаталистическое убеждение в неизбежности происходящего и объяснение собственной пассивности и безответственности.

В качестве неспецифического качества «советского синдрома» можно назвать *латентную ксенофобию*, неизбежно возникающую в силу длительного подавления гуманистических ценностей и прав человека, многолетнего дефицита возможностей удовлетворения потребностей и декларируемых требований подчинения индивида коллективу и жизни ради светлого будущего. В условиях постоянного декларирования интернационализма советского человека нетерпимость по отношению к другим этническим, национальным или расовым группам, конечно же, не могла признаваться советскими респондентами.

В отличие от *нигилистического прожектерства*, *ксенофобия* легче поддается изучению, и попытки сравнения советских и американских жителей по шкале F известного опросника *авторитарной личности* были предприняты в период распада СССР (Абалакина, Агеев, Мак-Фарланд, 1990; McFarland, Ageev, & Abalakina-Paar, 1992; McFarland, Ageyev & Abalakina, 1993). Результаты не обнаружили значимых различий по *авторитаризму*, включая и *ксенофобию*, что, однако, может свидетельствовать о том, что использованная методика не является валидной для оценки именно *латентной ксенофобии*, которая лишь позже стала переходить в России в более или менее открытую ксенофобию.

В целом комплекс или «синдром советского человека», скорее всего, может быть понят в свете известного, экспериментально изученного феномена *learned helplessness* («наученной беспомощности»). В исследовании Овермайера и Зелигмана было показано, что у собак, наказываемых током, независимо от их поведения, вырабатывалась пассивность, сохранявшаяся далеко за пределами стимульной ситуации (Overmier, Seligman, 1967).

Человек, однако, в отличие от меньших братьев, наделен сознанием и способностью строить идеальную картину мира. Будучи жертвами или свидетелями ничем не обоснованных репрессий, советские люди вынуждены были прятаться в своей идеальной картине и строить «воздушные замки», замещая этим свою реальную пассивность, ибо личная инициатива в советской системе была наказуема. Вне социальное недовольство проявлялось лишь по ночам на домашних кухнях, где властям «доставалось на орехи», или в политических анекдотах. Скорее всего и мотивация пьянства (на стадии до формирования физиологической зависимости) в значительной степени была связана с этим недовольством.

Естественно, что понять, а тем более изучить этот процесс возникновения установок на внутреннюю оппозицию «изнутри», будучи одним из элементов этой системы, было для психологов принципиально невозможно. Это тем более понятно, что, в значительной степени, психология не могла быть в полной мере востребована в условиях тоталитарного общества и вынуждена была постоянно доказывать если не свою полезность, то свою преданность сильным мира сего. Советские психологи даже не пытались изучать реальную *социальную ситуацию развития* (Выготский) советских людей в условиях репрессивного режима, справедливо опасаясь возможных последствий. Они лишь более или менее оперативно реагировали на заказы военного ведомства и на еще более редкие заказы гражданского сектора.

Как пишет Эткин, в хорошо документированном анализе истории психоанализа в России: «Вместо науки, смыслом которой является описание и понимание реальности такая она есть, формируется специфический феномен советской духовной жизни — «учение», в смешанном виде содержащее в себе остатки реальной науки и никак с ней не связанные обещания переделать неподдающуюся реальность» (Эткин, 1994, с. 271).

Все, что психологи могли сказать о личности советского человека и в послесталинскую эпоху 1960-1970-х годов, определялось многочисленными декларациями партийных съездов и пленумов «о формировании гармонической и всесторонне развитой личности» и имело скорее декларативный, чем конкретно-психологический смысл. В конкретных работах новизна и отличие от зарубежных работ создавалась лишь «переодеванием» — придумыванием новых терминов для уже изученных явлений. Так, в социальной психологии *групповое мышление*, *конформность* и *групповая консолидация* были заменены на *коллективистическое самоопределение*, *сходство убеждений* — на *ценностно-ориентационное единство*, а эмпатия и дружба — на *действенную групповую эмоциональную идентификацию* (Петровский, 1984).

К сожалению, деформированным у советских людей оказалось и представление о науке. Официальные требования новизны приводили к бесконечным поискам новых терминов и новых трактовок уже известного, а также к последующей необходимости согласования разных интерпретаций одного и того же термина. Ограниченное или отсутствующее финансирование приводило к редуцированным и поверхностным эмпирическим исследованиям. Как правило, при обработке полученных данных более чем достаточно было использовать описательную статистику, и вполне допускалось ограничиваться лишь качественным анализом, который рассматривался как наиболее важный и ценный. При этом считалось, что для создания психологической теории вовсе не обязательна ее эмпирическая проверка с использованием серьезного количественного анализа.

Деформированные требования новизны также облегчали советскому режиму самоизоляцию от происходящего в мировой науке и снижали требования к воспроизводимости изучаемых явлений, а значит снижали затраты и достоверность проведенных исследований, что было весьма на руку власти, вовсе не заинтересованной в предоставлении объективной информации о положении дел в обществе. Эти требования также маскировали саму суть представления о науке как о многократном обнаружении сходных закономерностей разными и независимыми друг от друга исследователями. Практически, ни один из фактов, полученных в наиболее известных в советской психологии эмпирических исследований, никогда не проверялся, так что даже научным фактом, в

строгом смысле этого понятия, эти данные советской психологии назвать нельзя.

Подавляющее большинство психологов советского периода даже не подозревало о существовании выводной статистики, без применения которой никакие данные, полученные на конкретной выборке участников, не могут быть обобщены на других представителей популяции, из которой данная выборка была сделана. Начальный статистический анализ первичных данных, обеспечиваемый с помощью таких показателей описательной статистики, как меры центральной тенденции и меры вариативности, дает исследователю лишь характеристику особенностей участников исследования. А исследователя, так же, как и тех, кто с данным исследованием знакомится, интересует — относится ли данный результат ко всем остальным представителям данной популяции, которые в данном исследовании не участвовали, т.е. в какой мере можно говорить о получении нового факта или известной закономерности. Вполне определенно об этом можно сказать только на основании применения инструментов выводной статистики.

Так что, если даже в советское время кому-нибудь удалось создать инкубатор для производства гармоничных и всесторонне развитых личностей, такое достижение вряд ли могло превратиться в научный факт и стать достоянием психологии как науки, которая не знает государственных границ и национальных ограничений.

Советская психология вне мировой психологии не могла состояться, что и случилось. Самоизоляция нанесла максимальный ущерб именно тем, кто к этой самоизоляции стремился и ее активно поддерживал.

В свою очередь, любая самоизоляция ведет и к появлению известной самобытности. Правда, как выяснилось в результате всех страшных и не слишком страшных советских экспериментов, появляющаяся самобытность советского человека оказалось вовсе не такой, на которую рассчитывали руководители этого эксперимента. И психология им в этом не могла помочь, хотя и была превращена из средства познания психики в одно из средств манипуляции ею. За что советский режим боролся, на то и напоролся. Одни делали вид, что заказ на психологическое обеспечение делают и оплачивают, а другие делали вид, что этот заказ выполняют. Результат оказался очевиден. Превозносимые черты советского человека, в отличие от человека западного общества, такие как интернационализм, готовность прийти на помощь, гуманизм и пр., оказались лишь ничем не обоснованными декларациями.

Впрочем, это не значит, что постсоветские люди отличаются по каким-то базовым психологическим показателям от жителей Западной Европы. Недавние исследования российской молодежи показали, что несмотря на существующее у большинства мнение об отличии россиян от остальных народов, реальные оценки психологических черт своих сограждан существенно не отличаются от оценок черт жителей в других странах (Allik, et al., 2009). Однако, это не отрицает существования целого ряда культурных различий между нациями и народами, формирование которых происходило, конечно, не только за последние пятьдесят или сто лет.

Литература

- Allik, J., Mõttus, R., Realo, A., Pullmann, H., Trifonova, A., McCrae, R., Meshcheryakov B. (2009). How national character is constructed: personality traits attributed to the typical Russian. *Psychological Journal of International University of Nature, Society and Human "Dubna"*, 2009, 1.
- Bauer, R. A. (1952/1959). *The New Man in Soviet Psychology*. 2nd printing. Cambridge: Harvard University Press.
- Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates." *Journal of Social Psychology*, 10, 271-299.
- Lippitt, Ronald (1940). An experimental study of the effect of democratic and authoritarian group atmospheres. *University of Iowa Studies: Studies in Child Welfare*, 16 (3), 45-195.
- Luria, A. R. (1936). The development of mental functions in twins. *Character and Personality*, 5, 35-47.
- Luria, A. R. (1937). Vues psychologiques sur le développement des états oligophrènes. *Congrès International*

de Psychiatrie Infantile (Paris), 3, 135-145.

McFarland S.G., Ageev V.S. & Abalakina-Paap M.A. Authoritarianism in the Former Soviet Union // Journal of Personality and Social Psychology. 1992. V. 63(6). P. 1004-1010.

McFarland S., Ageev V., Abalakina, M. (1993) The Authoritarian Personality in USA and USSR: Comparative Studies. In W. F. Stone, G. Lederer, R. Christie (Eds.) Strength and Weakness: The authoritarian personality today. — N.Y.: Springer-Verlag.

Overmier, J. B., Seligman, M. E.P. (1967). Effects of inescapable shock upon subsequent escape and avoidance responding. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 63, 23-33.

Seligman, M. E.P. (1975). Helplessness: On depression development and death.— San Francisco: W.H. Freeman.

Wyatt, Fr., & Teuber, H.-L. (1944). German Psychology under the Nazi System. *Psychological Review*, 51, 229-247.

Абалакина М.А., Агеев В.С., Мак-Фарланд С.Т. (1990). Авторитарная личность в США и СССР. Человек. № 6. С. 110-118.

Блонский, П.П. (1921). Очерк научной психологии. М.: Госиздат.

Бреслав, Г. (2006). История психологии: Европейский взгляд. (Рукопись).

Бухарин, Н. И. (1990). Избранные произведения. Москва: Экономика.

Гордон, Л. А. (1939). Потребности и интересы. Советская Педагогика, 8-9, с.132-140.

Лурия, А. Р. (1982). Этапы пройденного пути: Научная автобиография. — Москва: Изд. МГУ, с.18.

Кольцова В.А., Олейник Ю.Н. (1995). Работа советских психологов в годы Великой Отечественной войны // Психол. журнал. Т.16. № 3. С. 3-12.

Корнилов К.Н. (1928а). Современное состояние психологии в СССР, в кн.: „Проблемы современной психологии“, под ред. К.Н. Корнилова, Т. 3. — М.-Л., 1928, 5–25.

Корнилов К.Н. (1928б). Психология и марксизм, в кн.: Психология и марксизм. Сборник статей, под ред. К.Н. Корнилова. — Л., 1925, 9–24.

Корнилов, К. Н. (1942). Проблема формирования воли. Советская Педагогика, 5-6,

Лурия, А. Р. (1975). Советские психологи в годы Великой Отечественной войны // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. № 5. С.757-759.

Петровский, А. В. (1984). Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. — Москва: Педагогика.

Рубинштейн, С.Л. (1940). Основы общей психологии.— Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР.

Теплов, Б. М. (1947). Советская психологическая наука за 30 лет. Стенограмма публичной лекции. — Москва: Изд. «Правда».

Умрихин, В. В. «Начало конца» поведенческой психологии в СССР. Сб. Репрессированная наука. — Л.: Наука, 1991, с.136–145.

Челпанов, Г.И. (1914). Психологический Институт при Московском Университете (История, описание устройства, организация занятий). В сб. Г.И.Челпанов (Ред.), Психологические исследования. Т.1, вып.1-2.

Шерешевский, (1991). Загадка смерти В. М. Бехтерева. *Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева*. № 2, с. 101-110.

Эткинд, А. М. (1994). Эрос невозможного: История психоанализа в России. — Москва: «Гнозис» - «Прогресс-Комплекс».